

Карамзин Н. М.
О любви к отечеству и народной гордости

Любовь к Отечеству может быть *физическая, моральная и политическая*.

Человек любит место своего рождения и воспитания. Сия привязанность есть общая для всех людей и народов, есть дело природы и должна быть названа *физическою*. Родина мила сердцу не местными красотами, не ясным небом, не приятным климатом, а пленительными воспоминаниями, окружающими, так сказать, утро и колыбель человечества. В свете нет ничего милее жизни: она есть первое счастье — а начало всякого благополучия имеет для нашего воображения какую-то особенную прелесть. Так нежные любовники и друзья освящают в памяти первый день любви и дружбы своей. Лапланец, рожденный почти в гробе природы, несмотря на то, любит хладный мрак земли своей. Переселите его в счастливую Италию: он взором и сердцем будет возвращаться к северу, подобно магниту; яркое сияние солнца не произведет таких сладких чувств в его душе, как день сумрачный, как свист бури, как падение снега: они напоминают ему Отечество! — Самое расположение нерв, образованных в человеке по климату, привязывает нас к родине. Недаром медики советуют иногда больным лечиться воздухом; недаром житель Гельвеции, удаленный от снежных гор своих, сохнет и впадает в меланхолию; а возвращаясь в дикий Унтервальден, в суровый Гларис, оживает. Всякое растение имеет более силы в своем климате: закон природы и для человека не изменяется. — Не говорю, чтобы естественные красоты и выгоды отчизны не имели никакого влияния на общую любовь к ней: некоторые земли, обогащенные природою, могут быть тем милее своим жителям; говорю только, что силы красоты и выгоды не бывают главным основанием физической привязанности людей к отечеству: ибо она не была бы тогда общею.

С кем мы росли и живем, к тем привыкаем. Душа их *сообразуется* с нашею; делается некоторым ее зеркалом; служит предметом или средством наших нравственных удовольствий и обращается к предметам склонности для сердца. Сия любовь к согражданам, или к людям, с которыми мы росли, воспитывались и живем, есть вторая, или *моральная*, любовь к Отечеству, столь же общая, как и первая, местная, или *физическая*, но действующая в некоторых летах сильнее: ибо время утверждает привычку. Надобно видеть двух единоплеменцев, которые в чужой земле находят друг друга: с каким удовольствием они обнимаются и спешат изливать душу в искренних разговорах! Они видятся в первый раз, но уже знакомы и дружны, утверждая личную связь свою какими-нибудь общими связями отечества! Им кажется, что они, говоря даже иностранным языком, лучше разумеют друг друга, нежели прочих: ибо в характере единоплеменцев есть всегда некоторое сходство, и жители одного государства образуют всегда, так сказать, электрическую цепь, передающую им одно впечатление посредством самых отдаленных колец или звеньев. — На берегах прекраснейшего в мире озера, служащего зеркалом богатой натуре, случилось мне встретить голландского патриота, который, по ненависти к штатгальтеру и оранистам, выехал из отечества и поселился в Швейцарии между Ниона и Роля. У него был прекрасный домик, физический кабинет, библиотека; сидя под окном, он видел перед собою великолепнейшую картину природы. Ходя мимо домика, я завидовал хозяину, не зная его; познакомился с ним в Женеве и сказал ему о том. Ответ голландского флегматика удивил меня своею живостию: «Никто не может быть счастлив вне своего отечества, где сердце его выучилось разуметь людей и образовало свои любимые привычки. Никаким народом нельзя заменить сограждан. Я живу не с теми, с кем жил сорок лет, и живу не так, как жил сорок лет; трудно приучать себя к новостям, и мне скучно!»

Но физическая и нравственная привязанность к отечеству, действие природы и свойств человека не составляют еще той великой добродетели, которою славились греки и

римляне. Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения — и потому не все люди имеют его.

Самая лучшая философия есть та, которая основывает должности человека на его счастье. Она скажет нам, что мы должны любить пользу отечества, ибо с нею неразрывна наша собственная; что его просвещение окружает нас самих многими удовольствиями в жизни; что его тишина и добродетели служат щитом семейственных наслаждений; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно человеку называться сыном презренного отца, то не менее оскорбительно и гражданину называться сыном презренного отечества. Таким образом, любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие — гордость народную, которая служит опорой патриотизма. Так греки и римляне считали себя первыми народами, а всех других — варварами; так англичане, которые в новейшие времена более других славятся своим патриотизмом, более других о себе мечтают.

Я не смею думать, чтобы у нас в России было немного патриотов; но мне кажется, что мы излишне *смирены* в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут.

Не говорю, чтобы любовь к Отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен, по крайней мере, знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостью.

Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колыбелию народа русского, а победа — вестницею бытия его. Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они пришли и разбили ее легионы. Историки византийские говорят о наших предках как о чудесных людях, которым ничто не могло противиться и которые отличались от других северных народов не только своею храбростью, но и каким-то рыцарским добродушием. Герои наши в девятом и десятом веке играли и забавлялись ужасом тогдашней новой столицы мира: им надлежало только явиться под стенами Константинополя, чтобы взять дань с царей греческих. В первом-надесять веке русские, всегда превосходные храбростью, не уступали другим европейским народам и в просвещении, имея по религии тесную связь с Царем-градом, который делился с нами плодами учения; во время Ярослава были переведены на славянский язык многие греческие книги. К чести твердого русского характера служит то, что Константинополь никогда не мог себе присвоить политического влияния на отечество наше. Князья любили разум и знание греков, но всегда готовы были оружием наказывать их за малейшие знаки дерзости.

Разделение России на многие владения и несогласие князей приготовили торжество Чингисхановых потомков и наши долговременные бедствия. Великие люди и великие народы подвержены ударам рока, но и в самом несчастии являют свое величие. Так Россия, терзаемая лютым врагом, гибла со славою; целые города предпочитали верное истребление стыду рабства. Жители Владимира, Чернигова, Киева принесли себя в жертву народной гордости и тем спасли имя русских от поношения. Историк, утомленный сими несчастными временами, как ужасною бесплодною пустынею, отдыхает на могилах и находит отраду в том, чтобы оплакивать смерть многих достойных сынов отечества.

Но какой народ в Европе может похвалиться лучшею судьбою? Который из них не был в узах несколько раз? По крайней мере, завоеватели наши устрашали восток и запад. Тамерлан, сидя на троне Самаркандском, воображал себя царем мира.

И какой народ так славно разорвал свои цепи? Так славно ответил врагам свирепым? Надлежало только быть на престоле решительному, смелому государю:

народная сила и храбрость, после некоторого усыпления, громом и молнией возвестили свое пробуждение.

Время самозванцев представляет опять горестную картину мятежа: но скоро любовь к отечеству воспламеняет сердца — граждане, земледельцы требуют военачальника, и Пожарский, ознаменованный славными ранами, встает с одра болезни. Добродетельный Минин служит примером; и кто не может отдать жизни отечеству, отдает ему все, что имеет... Древняя и новая истории народов не представляют нам ничего трогательнее сего общего, героического патриотизма. В царствование Александра позволено желать русскому сердцу, чтобы какой-нибудь достойный монумент, сооруженный в Нижнем Новгороде (где раздался первый глас любви к отечеству), обновил в нашей памяти славную эпоху русской истории. Такие монументы возвышают дух народа. Скромный монарх не запретил бы нам сказать в надписи, что сей памятник сооружен в *его счастливое время*.

Петр Великий, *соединив* нас с Европою и показав нам выгоды просвещения, ненадолго унизил народную гордость русских. Мы взглянули, так сказать, на Европу и одним взором присвоили себе плоды долговременных трудов ее. Едва великий государь сказал воинам, как надобно владеть новым оружием, они, взяв его, летели сражаться с первою европейскою армиею. Явились генералы, ныне ученики, завтра примеры для учителей. Скоро другие могли и должны были перенимать у нас; мы показали, как бьют шведов, турков — и, наконец, французов. Сии славные республиканцы, которые еще лучше говорят, нежели сражаются, и так часто твердят о своих ужасных штыках, бежали в Италии от первого взмаха штыков русских. Зная, что мы храбрее многих, не знаем, еще кто нас храбрее. Мужество есть великое свойство души; народ, им отличенный, должен гордиться собою.

В военном искусстве мы успели более, нежели в других, оттого, что им более занимались как нужнейшим для утверждения государственного бытия нашего; однако ж не одними лаврами можем хвалиться. Наши гражданские учреждения мудростию своею равняются с учреждениями других государств, которые несколько веков просвещаются. Наша людскость, тон общества, вкус к жизни удивляют иностранцев, приезжающих в Россию с ложным понятием о народе, который в начале осьмого-надесять века считался варварским.

Завистники русских говорят, что мы имеем только в высшей степени *переимчивость*, но разве она не есть знак превосходного образования души? Сказывают, что учителя Лейбница находили в нем также одну *переимчивость*.

В науках мы стоим еще позади других, для того — и для того единственно, что менее других занимаемся ими и что ученое состояние не имеет у нас такой обширной сферы, как, например, в Германии, Англии и проч. Если бы наши молодые дворяне, *учась, могли доучиваться* и посвящать себя наукам, то мы имели бы уже своих Линнеев, Галлеров, Боннетов. Успехи литературы нашей (которая требует менее учености, но, смею сказать, еще более разума, нежели собственно так называемые науки) доказывают великую способность русских. Давно ли знаем, что такое слог в стихах и прозе? И можем в некоторых частях уже равняться с иностранцами. У французов еще в шестом-надесять веке философствовал и писал Монтань: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас? Не чудно ли, напротив того, что некоторые наши произведения могут стоять наряду с их лучшими, как в живописи мыслей, так и в оттенках слога? Будем только справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену собственного. Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славой: французские, английские авторы могут обойтись без нашей похвалы; но русским нужно, по крайней мере, внимание русских. Расположение души моей — слава Богу! — совсем противно сатирическому и бранному духу; но я осмеливаюсь попенять многим из наших любителей чтения, которые, зная лучше парижских жителей все произведения французской литературы, не хотят и взглянуть на русскую книгу. Того ли они желают, чтобы иностранцы уведомляли их о

русских талантах? Пусть же читают французские и немецкие критические журналы, которые отдают справедливость нашим дарованиям, судя по некоторым переводам¹. Кому не будет обидно походить на Даламбертову мамку, которая, живучи с ним, к изумлению своему, услышала от других, что он умный человек? Некоторые извиняются худым знанием русского языка: это извинение хуже самой вины. Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен: что и *charmant* и *seduisant*, *expansion* и *vapeurs*² не могут быть на нем выражены; и что, одним словом, не стоит труда знать его. Кто смеет доказывать дамам, что они ошибаются? Но мужчины не имеют такого любезного права судить ложно. Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармониею, нежели французский; способнее для изливания души в тонах; представляет более *аналогических* слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки! Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре? Один иностранный министр сказал при мне, что «язык наш должен быть весьма темен, ибо русские, говоря им, по его замечанию, не понимают друг друга и тотчас должны прибегать к французскому». Не мы ли сами подаем повод к таким нелепым заключениям? — Язык важен для патриота; и я люблю англичан за то, что они лучше хотят *свистать* и *шипеть* по-английски с самыми нежными любовницами своими, нежели говорить чужим языком, известным почти всякому из них.

Есть всему предел и мера: как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но должен со временем быть *сам собою*, чтобы сказать: «Я существую морально!» Теперь мы уже имеем столько знаний и вкуса в жизни, что могли бы жить, не спрашивая: как живут в Париже и в Лондоне? Что там носят, в чем ездят и как убирают дома? Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником!

До сего времени Россия беспрестанно возвышалась как в политическом, так и в моральном смысле. Можно сказать, что Европа год от году нас более уважает, — и мы еще в середине нашего славного течения! Наблюдатель везде видит новые *отрасли* и *развития*; видит много плодов, но еще более цвета. Символ наш есть пылкий юноша: сердце его, полное жизни, любит деятельность; девиз его есть: *труды и надежда!* — Победы очистили нам путь ко благоденствию; слава есть право на счастье.

¹ Таким образом, самый худой французский перевод Ломоносова од и разных мест из Сумарокова заслужил внимание и похвалу иностранных журналистов.

² Прелестный, обольстительный, изливание, воспарения (*фр.*). — Ред.